

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Андрей Вознесенский

РОССИЯ-РОДИНА МОЯ

БИБЛИОТЕЧКА

РУССКОЙ

СОВЕТСКОЙ

ПОЭЗИИ

В ПЯТИДЕСЯТИ

КНИЖКАХ



**Издательство
«Художественная литература»
Москва 1967**

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

СТИХИ



ЛОНЖЮМО

(Поэма)

Авиаоступление

*Посвящается слушателям
школы Ленина в Лонжюмо*

Вступаю в поэму, как в новую пору вступают.

Работают поршни,

соседи в ремнях засыпают.

Ночной папироской

летят телецентры за Муром.

Есть много вопросов.

Давай с тобой, Время, покурим.
Прикинем итоги.

Светло и прощально
горящие годы, как крылья, летят за плечами.

И мы понимаем, что канули наши кануны,
что мы, да и спутницы наши,—

не юны,
что нас провожают

и машут лукаво
кто маминым шарфом, а кто —

кулаками...

Земля,

ты нас взглядом апрельским проводишь,
лежишь на спине, по-ночному безмолвная.

По гаснущим рельсам

бежит паровозик,

как будто
сдвигают
застежку
на «молнии».

Россия любимая,
с этим не шутят.
Все боли твои — меня болью пронзили.
Россия,
я — твой капиллярный сосудик,
мне больно когда —
тебе больно, Россия.

Как мелки отсюда успехи мои,
неуспехи,
друзей и врагов кулуарных ватаги.
Прости меня, Время,
что много сказать
не успею.

Ты, Время, не деньги,
но тоже тебя не хватает.

Но люди уходят, вревая в ночные отроги
дорог своих
огненные автографы!
Векам остаются — кому как удастся —
штаны — от одних,
от других — государства.

Его различаю.
Пытаюсь постигнуть,
чем был этот голос с картавой пластинки.
Дай, Время, схватить этот профиль,
паривший
в записках о школе его под Парижем.

Прости мне, Париж, невоспетых красавиц.
Россия, прости незамятые тропки.

В Лонжюмо сейчас лесопильня.
В школе Ленина? В Лонжюмо?
Нас распилами ослепили
бревна, бурые как эскимо.

Пилы кружатся. Пышут пыльчики.
Под береткой, как вспышки,— пыжики.
Через джемперы, как смола,
чуть просвечивают тела.

Здравствуй, утро в морозных дозах!
Словно соты, прозрачны доски.
Может, солнце и сосны — тезки?!
Пахнет музыкой. Пахнет тесом.

А еще почему-то — верфью,
а еще почему-то — ветром,

а еще — почему не знаю —
диалектикою познания!

Обнаруживайте древесину
под покровом багровой мглы.
Как лучи из-под тучи синей,
бьют

опилки

из-под пилы!

Добирайтесь в вещах до сути.
Пусть ворочается сосна,
словно глиняные сосуды,
солнцем полные до полна.

Пусть корою сосна дремуча,
сердцевина ее светла —
вы терзайте ее и мучайте,
чтобы музыкою была!

Чтобы стала поющей силищей
корабельщиков,
скрипачей...

Ленин был
из породы
распиливающих,
обнажающих суть
вещей.

2

Врут, что Ленин был в эмиграции.
(Кто *вне* родины — эмигрант.)
Всю Россию,
речную, горячую,
он носил в себе, как талант!

Настоящие эмигранты
пили в Питере под охраной,
воровали казну галантно,
жрали устрицы и гранаты —
эмигранты!

Эмигрировали в клозеты
с инкрустированными розетками,
отгораживались газетами
от осенней страны раздетой,
в куртизанок с цветными гривами —
эмигрировали!

В драндулете, как чертик в колбе,
изолированный, недобрый,
среди великодержавных харь,
среди ряс и охотнорядцев,
под разученные овации
проезжал глава эмиграции —
царь!

Эмигранты селились в Зимнем.
А России

сердце само —
билося в городе с дальним именем
Лонжюмо.

3

Этот — в гольф. Тот повержен бриджем.
Царь просаживал в «дурачки»...
...Под распарившимся Парижем
Ленин
режется
в городки!

Раз! — распахнута рубашка,
раз! — прищуривался глаз,
раз! — и чурки вверх тормашками
(жалко, что не видит Саша!) —
рраз!

Рас-печатывались «письма»,
раз-летясь до облаков,—
только вздрагивали бисмарки
от подобных городков!

Раз! — по тюрьмам, по двуглавым —
ого-го! —
Революция играла
озорно и широко!

Раз! — врезалась бита белая,
как авроровский фугас —
так что вдребезги империи,
церкви, будущие бери —
раз!

Ну играл! Таких оттягивал
«паровозов!» Так играл,
что шарахались рейхстаги
в 45-м наповал!

Раз!..

...А где-то в начале века
человек,
сощуривши веки,
«Не играл давно»,— говорит.
И лицо у него горит.

4

В этой кухоньке скромны тумбочки,
и, как крылышки у стрекоз,
брезжит воздух над узкой улочкой
Мари-Роз,

было утро, теперь смеркается,
и совсем из других миров
слышен колокол доминиканский,
Мари-Роз,

прислоняюсь к прохладной раме,
будто голову мне нажгло,
жизнь вечернюю озираю
через ленинское стекло,

и мне мнится — он где-то спереди,
меж торговых, машин, корзин,
на прозрачном велосипеде
проскользил,

или в том кабачке хохочет,
аплодируя шансонье?
или вспомнил в метро грохочущем
ослепительный свист саней?

или, может, жару и жаворонка?
или в лифте сквозном парит,
и под башней ажурно-ржавой
запрокидывается Париж —

крыши сизые галькой брезжат,
точно в воду погружены,
как у крабов на побережье,
у соборов горят клешни,

над серебряной панорамой
он склонялся, как часовщик,
над закатами, над рекламами,
он читал превращенья их,

он любил вас, ф́асады стылые,
точно ракушки в грустном стиле,
а еще он любил Бастилию —
за то, что ее срыли!

и сквозь биржи пожар валютный,
баррикадами взвиз кольцо,
проступало ему Революции
окровавленное
лицо,

и глаза почему-то режа,
сквозь сиреневую майолику
проступало Замоскворечье,
все в скворечниках и маевках,

а за ними — фронты, юденичи,
Русь ревет со звездой на лбу,
и чиркнет фуражкой студенческой
мой отец на кронштадтском льду,

вот зачем, мой Париж прощальный,
не пожар твоих маляров —
славлю стартовую площадку
узкой улочки Мари-Роз!

Он отсюда
мыслил
ракетно.

Мысль его, описав дугу,
разворачивала
 парапеты
возле Зимнего на снегу!

(Но об этом шла речь в строках
главки 3-й, о городках.)

5

В доме позднего рококо
спит, уткнувшись щекой в конспекты,
спит, живой еще, невоспетый
Серго,

спи, Серго, еще раным-рано,
зайчик солнечный через раму
шевелится в усах легко,
спи, Серго,

спи, Серго в васильковой рубашечке,
ты чему во сне улыбаешься?
Где-то Куйбышев и Менжинский
так же детски глаза смежили.

Что вам снится? Плотины Чирчика?
Первый трактор и кран с серьгой?
Почему вы во сне кричите,
Серго?!

Жизнь хитра. Не учесть всего.
Спит Серго, коммунист кремневый.
Под широкой стеной кремлевской
спит Серго.

6

Ленин прост — как материя,
как материя — сложен.

Наш народ — не тетеря,
чтоб кормить его с ложечки!

Не какие-то «винтики»,
а мыслители,
он любил ваши митинги,
Глебы, Вани и Митьки.

Заряжая ораторски
философией вас,
сам,
как аккумулятор,
заряжался от масс.

Вызревавшие мысли
превращались потом
в «Философские письма»,
в 18-й том.

*

Его скульптор лепил. Вернее,
умолял попозировать он,
перед этим, сваяв Верлена,
их похожестью потрясен,
бормотал он оцепенело:
«Символическая черта!
У поэтов и революционеров
одинаковые черепа!»
Поэтично кроить вселенную!
И за то, что он был поэт,
как когда-то в Пушкина — в Ленина
бил отравленный пистолет!

7

Однажды, став зрелей, из спешной
повседневности
мы входим в Мавзолей, как в кабинет
рентгеновский,

вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.

Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:
«Скажите, Ленин, мы — каких Вы ждали, Ленин?!

Скажите, Ленин, где победы и пробелы?
Скажите — в суете мы суть не проглядели?..»

Нам часто тяжело. Но солнечно и страстно
прозрачное чело горит лампообразно.

«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?»
И Ленин отвечает.

На все вопросы отвечает
Ленин.

1962—1963

ГОЙЯ

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал враг,
слетая на поле нагое.

Я — горе.

Я — голос
войны, городов головни
на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Я — горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол,
 било над площадью голой...

Я — Гойя!

О, грозди
возмездья! Взвил залпом на Запад —
 я пепел незваного гостя!
И в мемориальное небо вбил крепкие звезды —
как гвозди.

Я — Гойя.

1959

МАЯКОВСКИЙ В ПАРИЖЕ

Уличному художнику

Лили Брик на мосту лежит,
разутюженная машинами.
Под подошвами, под резинами,
как монетка зрачок блестит!

Пешеходы бросают мзду.
И, как рана,
Маяковский, щемяще ранний,
как игральная карта в рамке,
намалеван на том мосту!

Никто не пришел
на Вашу выставку,
Маяковский.

Мы бы — пришли.

Вы бы что-нибудь почитали,
как фатально Вас не хватает!

О, свинцовою пломбочкой ночью
опечатанные уста.
И не флейта Ваш позвоночник —
алюминиевый лёт моста!

Маяковский, Вы схожи с мостом.
Надо временем,
как гимнаст,
башмаками касаетесь РОСТА,
а ладонями —
нас.

Ваша площадь мосту подобна,
как машины из-под моста —
Маяковскому под ноги
Маяковская Москва!
Маяковским громит подонков
Маяковская чистота!

Вам шумят стадионов тысячи.
Как Вам думается?
Как дышится,
Маяковский, товарищ Мост?..

Мост. Париж. Ожидаем звезд.
Притаился закат внизу,
полоснувши по небосводу
красным следом
от самолета,
точно бритвою по лицу!

1963

МОНОЛОГ МЭРЛИН МОНРО

Я Мэрлин, Мэрлин.

Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,

мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо;

ах, мамы, мамы, зачем рожают?
Ведь знала мама — меня раздавят;

о, кинозвездное оледененье,
нам невозможно уединенье,
в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» — глядят разини;

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,

что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,

глаза измяты,
 лицо разорвано
(как страшно вспомнить во «Франс-
Обзёрвере»
свой снимок с мордой
 самоуверенной
на обороте у мертвой Мэрлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
 ваш лоб — как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
 самоубийцы,

идет всемирная Хиросима,
невыносимо,
невыносимо все ждать,
 чтоб грянуло,
 а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

Невыносимо
 горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше —
 сразу!

1963

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте.

Леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,

как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли.

Мы — люди, мы тоже порожни,
уходим мы, так уж положено,
из стен, матерей и из женщин,
и этот порядок извечен;

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем;

друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегайте,
и я уйду из вас.

О родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была;

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
входило прозренье, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак;

«Андрей Вознесенский» —
будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,

еще на щеке твоей душевной —
«Андрюшкой»,—

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо;

я ожил,
спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо;

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,

мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неуютен?

Ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока;

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках.
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»;

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961

* * *

В дни неслыханно болевые
быть без сердца — мечта.
Чемпионы лупили навывлет —
ни черта!

Продырявленный, точно решета,
утешаю ажиотаж:
«Поглазейте в меня, как в решетку,—
так шикарен пейзаж!»

Но неужто узнает ружье,
где, привязана нитью болезненной,
бьешься ты в миллиметре от лезвия,
ахиллесово
сердце
мое?!

Осторожнее, милая, тише...
Нашумело меняя места,
я ношусь по России —
как птица
отвлекает огонь от гнезда.

Все болишь? Ночами пошалливаешь?
Ну и плюс!
Не касайтесь рукою шершавою —
я от судороги — валюсь.

ЖИВОЕ ОЗЕРО

Памяти жертв фашизма

*Певзнер 1903, Сергеев 1934, Лебедев 1916,
Бирман 1938, Бирман 1941, Дробот 1907...*

Наши кеды как приморозило.

Тишина.

Гетто в озере. Гетто в озере.

Три гектара живого дна.

Гражданин в пиджачке гороховом
зазывает на славный клев,

только кровь
на крючке его крохотном,
кровь!

«Не могу,— говорит Володька,—
а по рылу — могу,
это вроде как
не укладывается в мозгу!

Я живою водою умоюсь,
может, чью-то жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.

Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,
ты пощупай ее ладонью —
болит!

Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кем-то растворены?

А базарами колоссальными
барабанит жабрами в жесть
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть...»

«Не могу,— говорит Володька,—
лишь зажмурюсь —

в чугунных ночах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат!»

Третью ночь как Костров пьет.
И ночами зовет с обрыва.
И к нему
является

Рыба,
чудо-юдо озерных вод!

«Рыба,
летучая рыба,
с гневным лицом мадонны,
с плавниками, белыми
как свистят паровозы,
рыба,

Рива тебя звали,
золотая Рива,
Ривка, либо как-нибудь еще,
с обрывком
колючки проволоки или рыболовным
крючком
в верхней губе, рыба,
рыба боли и печали,
прости меня, прокляни, но что-нибудь
ответь...»

Ничего не отвечает рыба.

Тихо.

Озеро приграничное.

Три сосны.

Изумленнейшее хранилище
жизни, облака, вышины.

*Лебедев 1916, Бирман 1941,
Румер 1902, Войко оба 1933...*

1965

РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория
реют мотороллеры.

За рулем влюбленные —
как ангелы рублевские.

Фреской Благовещенья,
резкой белизной

за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
рвется от руля,

вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?

Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

1962

ДРЕВНИЕ СТРОКИ

В воротничке я — как рассыльный
в кругу кривляк.
Но по ночам я — пес России
о двух крылах.

С обрывком галстука на вые
и дыбом шерсть.
И дыбом крылья огневые.
Врагов не счесть.

А ты меня шерстишь и любишь,
когда ж грустишь —
выплакиваешь мне, что людям
не сообщишь.

В мурло уткнешься меховое
в репьях, в шипах...
И слезы общею звездю
в шерсти шипят.

И неминуемо минуем
твою беду
в неизменуемо немую
минуту ту.

А утром я свищу насильно,
но мой язык —
что слезы слизывал России,
чей светел лик.

1967

ПРОЛОГ

Пес твой, Эпоха, я вою у сонного ЦУМа —
чую Кучума!

Чую кольчугу
 сквозь чушь о «военных коммунах»,
чую Кучума,
чую мочу
 на жемчужинах луврских фаяомов —
чую Кучума,

пыль над ордою встает грибовидным самумом,
люди, очнитесь от ваших возлюбленных юных,
чую Кучума!

Чу, начинается... Повар скуластый
мозг вырезает из псины живой и скулящей...
Брат вислоухий, седой от безумья —
чую кучумье!

Неужели астронавты завтра улетят на Марс,
а послезавтра
вернутся в эпоху скотоводческого феодализма?

Неужели Шекспира заставят каяться
в незнании «измов»?

Неужели Стравинского поволокут
с мусорным ведром на седой
голове по воющим улицам!

Я думаю, право ли большинство?
Право ли наводнение во Флоренции,
круша палаццо, как орехи грецкие?
Но победит Чело, а не число.

Я думаю — толпа иль единица?
Что длительней — столетье или миг,
который Микеланджело постиг?
Столетье сдохло, а мгновенье длится.

Я думаю...

Хам эпохальный стандартно грядет
по холмам, потрохам,
хам,
хам примеряет подковки к новеньким сапогам,
хам,
тьнь за конем волочится, как раб на аркане,
крови алкает ракета на телеэкрane,
хам.

В Маркса вгрызаются крысы амбарные,
рушат компартию, жаждут хампартию.

Хм!

Прет чингисхамство, как тесто в квашне,

хам,

сгинь, наважденье, иль все это только во сне?

Кань!

Суздальская богоматерь,

сияющая на белой стене,

как кинокассирша в полукруглом окошечке,

дай мне билет, куда не пускают после 16-ти.

Невозмогу понимать все...

Народ не бывает Кучумом. Кучумы — это

божки.

Кучумство — не нация Лу Синя и Ци Бай-ши.

При чем тут расцветка кожи?

Мы знали их,

белокурых.

Кучумство с подростков кожу
сдирало на абажуры.
«СверхВостоку» «СверхЗапад» снится.

Кучумство — это волна
совиного шовинизма.

Кучумство — это война.

Неужто Париж над кострами вспыхнет,
как мотылек?
(К чему же века истории, коль снова
на четырех?)

При чем тут «ревизионизмы»
и ханжеский балаган?
(Я слышу: «Икры зернистой!» Я слышу:
«Отдай Байкал!»)

Неужто опять планету нам выносить на горбу?
Время!
Молись России
за неслыханную ее судьбу!

За наше самозабвение, вечное, как небеса,
все пули за Рим, за Вены, вонзающее в себя!

Спасательная Россия! Какие бы ни Батыи —
вечно Россия.

Снова Россия.

Вечно Россия.

Россия — ладонь распахнутая,
и Новгород — небесам
горит на равнине распаханной —
как сахар дают лошадям.

Дурные твои Батыи —

Мамаями заскулят.

Мама моя, Россия,
не дай тебе

сжаться в кулак.

Гляжу я, ночной прохожий,
на лунный и круглый стог.
Он сверху прикрыт рогожей —
чтоб дождичком не промок.

И так же сквозь дождик плещущий
космического сентября,
накинув
 Россию
 на плечи,
поеживается Земля.

1967

СОДЕРЖАНИЕ

Лонжюмо (<i>Поэма</i>)	7
Гойя	27
Маяковский в Париже	29
Монолог Мэрлин Монро	33
Осень в Сигулде	39
«В дни неслыханно болевые...»	44
Живое озеро	47
Рублевское шоссе	52
Древние строки	54
Пролог	56

**АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ**

СТИХИ

Редактор Э. Кондратьева

Художественный редактор

Ю. Васильев

Технический редактор

Г. Каунина

Корректоры

Г. Сурицы и Г. Асланянц

**Сдано в набор 8/XII 1966 г. Подписано к печати 8/VI
1967 г. А02573. Бумага тифдручная 60×90¹/₃₂ = 2 печ. л.
2 усл. печ. л. 1,102 уч.-изд. л. Тираж 10 000.**

Заказ № 1183. Цена 44 коп.

**Издательство «Художественная литература».
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.**

**Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете
Министров СССР. Москва, Ж-54, Воровая, 28.**



